

**XXVIII**

Вот уже три месяца, как я в тюрьме. С того дня, как я узнал, что и Зоя пребывает под кровом того же мрачного здания, удивительное успокоение снизошло в мою душу. Бедная мама, обивши все пороги у властей предержавших и ничего не добившись, уехала, и ждать мне стало некого. Никто не придет, да никого мне, откровенно говоря, и не надо. Зоя со мной, есть книги, перо, бумага; хорошо и спокойно. Дело, видимо, затянулось: на допросах спрашивают о нелегальной библиотеке, о гектографе, о шрифте, но совершенно ясно, что ни библиотеки, ни шрифта они не нашли, а только знают, что они существуют. Держат в тюрьме с целью поморить и кого-нибудь смутить и побудить сознаться и указать, где спрятаны вещи. Так и начинают всегда допрос:

— Ну-с, вы имели много времени подумать. Не пожелаете ли теперь сознаться и указать, где сокрыты шрифт и книги?..

— Я вам уже сказал все, что имел сказать... Никакой библиотеки и никакого шрифта не видал и ничего о них не знаю. Вы имели тоже достаточно времени, чтобы убедиться, что все — это измышление ваших агентов...

— Так не желаете показать?

— Не могу, ибо ничего не знаю...

— Увезите!..

Все-таки приятная прогулка по городу, развлечение и отдых от однообразия тюремной жизни.

Допросы мы все очень любим: они дают новую пищу для наших разговоров через стенку и догадок о том, насколько поднялись или опустились наши акции. Допрос, баня и всенощная по-прежнему вносят оживление в мою жизнь и разбивают ее на правильные интервалы, помогающие времени бежать вперед...

Уже привык к тюрьме и к тюремной жизни и ее особенностям. Иногда даже чувствую какую-то странную симпатию к этим мрачным каменным стенам и башням. Завелись приятели среди стражников и среди уголовных арестантов. Есть с кем поболтать в сумерках, и есть о чем подумать. В одиночестве мысль работает быстро, жадно, остро: книги прямо глотаешь одну за другой, делаешь выписки, набрасываешь свои заметки. Иногда является желание писать стихи или повести... Разрешили купить получше лампу и завести маленькое зеркальце, зубочистку и чернильницу. На столе уже виден некоторый комфорт и прочная оседлость. Из допросов видно, что власти имеют большое желание прицепить всех нас к делу Николая Ивановича, а для этого потребуется очень много времени: до сих пор нет связующих элементов. Я, как сожитель Николая Ивановича, для них — лакомый кусочек, но именно я-то и не даюсь в руки. Замучили допросами бедную Зою: каждую неделю возят в жандармское. Зоя сидит в No 6, и вести от нее доходят через четвертые

руки, вести отрывистые, иногда непонятные, перепутанные при передаче. Начинаю тревожиться за ее здоровье: иногда, ночью, прислушиваясь к напряженной тишине, узнаю ее кашель в конце нашего коридора... Полковник ей мстит за дерзости и оскорбление во время обыска. А может быть, тут имеет значение и то обстоятельство, что она — моя невеста.

Каждое утро камеру убирает уголовный арестант Флегонт. У него — приятное лицо, худое, с кроткими голубыми глазами, в которых я часто ловлю молчаливое сочувствие. Иногда, когда ожидающий у двери стражник отвлечется и займется разговором с кем-то в коридоре, Флегонт шепчет, подметая камеру:

— Терпеть надо, Енадий Николаич... Когда-нибудь отольются наши слезки.

— Хочешь папиросу?

Мигнет, чтобы положить на постель, и, убирая под кроватью, стянет папиросу, а потом молча приложит руку к сердцу.

Наладилась прочная молчаливая симпатия: переглядываемся ласковыми взглядами и вздыхаем. Однажды Флегонт начал говорить со мной жестами пальцев. Старался понять, но не понял. Потом догадался, что Флегонт предлагает передать что-нибудь товарищам. На маленьком куске тонкой бумаги написал: «Ты кашляешь, беспокоюсь. Г. Т.»; свернул, надписал: «В Но 6» и положил на постель, рядом с папиросой. Флегонт понял и мигнул, но стражник заметил и отобрал записку и папиросу. И с этой поры вместо Флегонта стал убирать камеру другой арестант, не внушавший доверия. Вообще после этого я стал замечать что-то подозрительное в окружающей мою камеру обстановке. Касьянов, безнадёжно влюбленный в Веру Игнатович и давно оставивший меня в покое и преследовавший перестукиванием свою соседку, неожиданно стал надоедать мне и спрашивать о том, о чем он должен был хорошо знать сам: где библиотека и кому сдан шрифт? Спрашиваю: кто говорит, отвечает — Касьянов.

— Н-е в-е-р-ю.

— П-о-д-и-к-ч-о-р-т-у!

А в соседстве, по другую сторону, тоже — новость: было пусто, а теперь, по ночам, слышен мягкий шум шагов и женское покашливание. Очевидно, новая комбинация. В голове копошится смутное предчувствие ловушки. Справа, несомненно, шпион, а вот кто слева? И зачем эта новая комбинация? Прислушиваюсь к тусклым звукам жизни за стенами, у соседей. Все больше убеждаюсь, что сосед справа должен изображать

Касьянова, который куда-то исчез. А вот слева... Не может быть! Неужели — Зою?!

Ночью прижимаюсь ухом к стене и ловлю слабое покашливание: страшно напоминает Зою. Неожиданный стук от мнимого Касьянова:

— Р-я-д-о-м с-и-д-и-т т-в-о-я н-е-в-е-с-т-а...

Вихрем кружится мысль и вдруг, как молния в хаосе туч, вспыхивает в сознании догадка, испугавшая и обрадовавшая: с одной стороны посадили Зою, а с другой — шпиона, хотят выудить из наших разговоров нужную им тайну... Даже застучало сердце от этой догадки. Сразу все стало ясно, и великое злорадство наполнило душу:

— Эх, вы! Комики!.. Благодарю вас за соседство слева, а справа нам не помешает. Коварство и любовь!..

И, спрятав лицо в подушку, я стал потихоньку хихикать. А потом подошел к соседу и простукал: «Касьянов, спишь?» Слово с цепи сорвался мнимый Касьянов: моментально застучал громко, никого не боясь:

— Не сплю. Как дела? Спроси невесту, куда они спрятали шрифт.

— Не понимаю, о каком шрифте говоришь.

— Она знает. Стучи ей. Сидит рядом.

Не могу сдерживать смеха, хихикаю в руку и стучу, что невеста не знает азбуки и не умеет перестукиваться. Велит научить, выбивая буквы по порядку алфавита, без рядов. Обещает подкинуть ей нашу тюремную азбуку. Отвечаю: «Сделай это скорее, необходимо».

Это была веселая ночь: словно я был в театре и смотрел какой-то водевиль с переодеванием. А когда водевиль кончился, я лег в постель и всем существом стал ощущать близость милой Зои. Трудно передать это ощущение: радостное беспокойство и грусть тихой нежности непрерывно, как волны прибоя, набегали на душу, катились в крови к сердцу, и баюкали, и ласкали. А когда слух ловил глухие звуки милого голоса, я закрывал глаза, и мне казалось, что я вижу за столом у лампы склоненную над книгой золотую головку и печальную улыбку на милом лице. Вот она встала и медленно, плавно ходит по камере. И только одна стена разделяет нас. Если бы она знала, что я — рядом!.. Опять так близко и так далеко... Я громко кашлял: может быть, узнает; потом прислушивался. Нет, не догадывается, не узнает. Было досадно и немного обидно. Снова начались мучительные ночи: радостно-тревожное чувство все нарастало и нарастало. Много раз пытался постукивать, но ответа не было: шаги смолкнут, но ответных стуков нет. Не знает азбуки, а может быть, боится.



Она — умница, осторожная. Не следует на нее сердиться. Дня через три мнимый Касьянов постучал мне, наконец:

— Азбуку подбросил, говори.  
— Молодец...

Как только наступили сумерки, начал осторожно постукивать. Я знал, что нам мешать не будут, но не хотел отступать от наших обычаев, чтобы не зарождал сомнения в соседе. Поэтому сдержал свое нетерпение и проявлял фальшивую осторожность. Тихо, нежно так выстукиваю:

— 3-о-я, 3-о-я, 3-о-я, 3-о-я.

Вопросительный кашель, тишина, два удара в стену.

— 3-о-я, 3-о-я, 3-о-я...

Громкий радостный смех за стеной, такой знакомый и странный.

Снова громко кашляю. Тишина. Эх, будь что будет: взял да и запел во весь голос: «Эх, ты, ноченька, ночка темная...»

Громкий стук в стену и глухой голос, поющий за стеной: «Ночка темная, ночь осенняя...»

Громкие шаги в коридоре, звон ключей, лязг железа. Слышно, как отпирают соседнюю ка-

меру и спорят с Зоей. Потом идут к моей, отпирают.

— Петь не полагается. Переведем в башню.

— Разве не полагается?

— Что вы, первый день здесь живете?!.

— Забыл. Не буду.

— Из-за вас нам неприятности. Если запоете еще раз...

Идите, больше не надо... Теперь обойдемся и без песен. Слово солнце засияло в камере после непогоды и так хорошо стало на душе. Теперь мы будем оба чувствовать друг друга близко и в смутных шорохах за стеной угадывать и сливать наши мысли. У Зои, благодаря любезности соседа, теперь есть условная азбука для перестукивания, и мы можем изредка обменяться лаской слов. Боюсь одного: не начала бы Зоя выстукивать что-нибудь тайное, что не следует знать коварному соседу... Поэтому в первую же попытку поговорить с Зоей я после краткого «люблю» «на допросе добиваются узнать о какой-то библиотеке и шрифте, о которых мы с тобой ничего не слышали». Не знаю, поняла ли мои слова неопытная Зоя, но мой сосед сразу понял; в тот же вечер он мне выстукал: «Переспроси-

те, она не поняла». Забыл, прохвост, что он — Касьянов, и начал говорить со мной на «вы»...

В моей тюремной жизни начался новый период. Я ни на одну минуту не был одиноким: со мной всегда была моя Зоя. Было похоже на то, будто мы живем в одной квартире в соседних комнатах. Стена не мешала близости, а скорей помогала ей. Днем, когда шум тюремной жизни мешал улавливать жизнь в соседней камере, я читал и писал, а как только тюрьма затихала, я, прильнув к стене, слушал, как Зоя ходит по камере, как она двигает табурет, пьет чай, покашливает, тихо вытягивает песенку или говорит сама с собой. Что говорит — разобрать нельзя, но довольно голоса, интонаций: приятно угадать хотя бы настроение духа и знать, что она жива и здорова. Ночью, ложась спать, мы прощались: «Ложусь, спок. ночи, целую», — выстукивала она, а я, целуя то место стены, в которое приблизительно ударял карандаш Зои, отвечал: «Безумно люблю, целую стену». Зоя стучала: «Я — тоже». Утром мы здоровались просто ударом в стену, причем я никогда не стучал первым, чтобы не будить моей голубки. Когда я уходил на прогулку или когда меня увозили на допрос, я с удовольствием возвращался «домой», то есть в свою камеру: «дома» меня ждала Зоя. Я даже तोропился и беспокоился, как у меня там, «дома»? Вероятно, и Зоя испытывала то же самое: возвращаясь «домой», она, как и я, первым делом оповещала меня о своем возвращении: ударяла один раз в стену. Ярко горела любовь через каменную стену!.. Я все чаще писал стихи в честь Зои и перестукивал их моей вдохновительнице.

Был уже март, и в природе чуялась близкая весна: все синее становились небеса, прозрачнее воздух, и начинало пахнуть землей и тающим снегом; по ночам через раскрытую форточку ярко мигали звезды, и резко звучали голоса ночи и шорохи скатывающегося с крыш снега; звонче били ночью часы на городской башне, и тревожнее где-то далеко лаяли собаки. Из окна моей камеры, закрытого снаружи деревянным конусом с открытым раструбом в небо, был виден купол и крест тюремной церкви, на которой иногда садились черные грачи. Иногда и ночью не было заморозков, и тогда было слышно, как за окном падает с крыши капель и как ворчит тающий снег. Снег таял, а любовь разгоралась все ярче. Иногда ночью, раскрыв форточку, я садился на стол, и прислушивался к звукам предвесенней ночи, и всматривался в звезды. Мелодично перезванивали часы на башне, и ночь внимательно вслушивалась в тающий в воздухе перезвон колоколов. В памяти бродили неясные воспоминания о весенних звездных ночах,

таинственно прячущейся в кустах белой сирени с одуряющим запахом, о легком контуре белой девушки в ночных сумерках сада и горячем поцелуе... Когда это было?.. Ах, это будет, будет!.. Будет весенняя ночь, звезды, таинственные кусты цветущей сирени и белая застенчивая девушка с тяжелыми косами... и поцелуй, долгий-долгий, от которого помутится голова, как от опьяняющего аромата белой сирени!..

Зоя, моя любимая, моя прекрасная Зоя! О, как я люблю тебя, моя невеста! Ты должна это почувствовать даже во сне, если ты уже заснула... Да, да, конечно, она кашляет... не может уснуть и думает о том же... Тук-тук! Отвечает: «так-так». Это значит: «Любишь?» — «Да, да!»

— Боже, как я счастлив!.. Как я счастлив!..

## XXIX

Голубой кусок неба, яркое, но невидимое солнце, шум дружной капели с карнизов и немолчный, похожий на звон бубенчиков говор стремительных ручейков; задорный разговор воробьев и мурлыканье воркующих голубей под окном; протяжный перекликающийся перезвон в церквях, близких и далеких: Великий пост...

В раскрытую форточку так и тянет весной. Не хочется слезать со стола. Все бы смотрел на кусок голубого неба и слушал, как звенят ручки и воркуют милые голуби! Встал на стол, всунул лицо в форточку и не могу надышаться влажным, прозрачным воздухом. Хочется закричать в форточку:

— Люди, здравствуйте!

— Господин, слезайте со стола! Нельзя.

— Что же, вылечу в форточку, что ли?

— Не вылетите, а все-таки не допускается.

— Требую выставить зимнюю раму.

— Не выставляется у нас... никогда.

— Вон как у вас... Довольно глупо у вас...

— А вы не рассуждайте, а то... Вот вам кипятик и письмо!..

— А, ну так бы и говорили.

Заварил чай. Письмо — от мамы: тысячу раз целует, прихварывает, страдает за меня и за себя, хлопчет о разрешении взять меня на поруки. Просят три тысячи, а взять их негде. Могла бы еще кое-как сколотить тысячу, а три — нет сил; есть одна надежда на одного человека, но пока не хочет обольщать и смущать меня надеждой. «Три тысячи. Легко сказать! Значит, ты наделал хороших дел, если меньше как за три тысячи не могут выпустить тебя на поруки к родной матери». Дальше — упреки и скрытые слезы, жалобы

на плохое здоровье и усталость от огорчений. На Пасхе собирается приехать в Казань.

Только на мгновение мелькнула радость в душе, когда мать написала про поруки. Обожгла мысль о свободе и сейчас же померкла и пропала: выйти на свободу одному, без Зою, — нет, не хочу, не могу, не имею права!..

Где-то поет скворчик, и поют протяжные колокола. И радостно, и грустно на душе. Уронил на руки голову, а невидимое солнышко как-то ухитрилось пролезть в окно и ласково греет руку. Свежий ветерок течет из форточки на голову, шевелит волосы. Хочется дремать под грустный перезвон великопостных колоколов. Роятся в памяти какие-то далекие воспоминания о страстных днях, о пасхальной заутрене, еще о чем-то далеком-далеком... Смутно рисуется детство, доброе лицо умершего отца, игрушки, пасхальные яйца, лужок, мама в белом платье, молодая, не та, которая хочет приехать на Пасху. Чего-то жаль, о чем-то хочется вспомнить, и не можешь, что-то убежало и не вернется...

Радостно поет где-то скворчик, и грустно перезванивают колокола.

— Пожалуйте на прогулку!

— На прогулку? Это хорошо. Надо посмотреть, где это поет скворец и воркуют голуби...

Всякий раз, выходя на прогулку, я торопился посмотреть на запертую дверь соседней камеры: ведь там, за дверью, сокрыто мое счастье! И на этот раз я взглянул на дверь. Взглянул и в тревожном изумлении остановился: дверь растворена, камеру убирает мой приятель Флегонт. Вопросительно взглянул на Флегонта, он — моргнул глазами.

— А вы пожалуйте!..

— Иду...

— Потом у них в 5-м номере уберешь! — бросает на ходу стражник Флегонту.

Камера соседа справа тоже растворена. Странное впечатление производят раскрытые двери камер: и радость, и тоска сжимают сердце...словно раскрытые клетки, из которых улетели на волю птицы. В душу хлынула жажда свободы, и зависть зашевелилась там, и радость за Зою, и досада на нее.

— Идите, не оглядывайтесь!

— Иду, иду...

Прошли длинный коридор, свернули и начали спускаться по лестнице. И тут-то случилось это неожиданное, невероятное, о чем я часто мечтал, как о чуде, и что несколько раз я видел во сне: навстречу вели Зою... Все это случилось так неожиданно для всех, и для нас и для стражников, что

произошло полное замешательство. Стражники метнулись назад, а мы — друг к другу. Молча мы схватились за руки и впились друг в друга глазами. Вихрь радости закружился в ушах, и мы не нашли слов, чтобы что-нибудь сказать друг другу. Впрочем, все это было делом одного момента, потому что стражники быстро спохватились и, оттащив нас друг от друга, повлекли в разные стороны.

— Зою!..

— Геня! Милый!..

Вот все, что мы успели прокричать друг другу, уже потом, издали... Мой стражник по дороге с кем-то успел перебраться бранным словом, кому-то погрозил доложить смотрителю про эту недоглядку, а я смеялся от восторженной радости, которая клокотала во мне, как вода под огнем, и готов был обнять сердитого стражника и того, кого он ругал бранными словами.

— Спасибо, милые, спасибо вам, дорогие!..

— Не разговаривать!

— Я сам с собою.

— С собой не о чем разговаривать. Гуляйте!

— С собой дозволено. Покажите инструкцию: там нет такого параграфа.

— Гуляйте в молчании, а то уведу в камеру...

Поет скворчик на Зоиним окне, поет умильно и радостно. Недаром он пел с самого утра. Спасибо, скворчик! Грустно перезванивают великопостные колокола, а в сердце уже пасхальный трезвон под «барыню»... Хожу, а ноги подплясывают, и все хочется громко, на всю тюрьму, запеть или закричать в город:

— Люди! Я видел Зою!

Как она похудела! Какие у нее большие глаза и синие, как это небо... Как радостно они засмеялись и схватили мою душу! Не могу припомнить, как она была одета. Только сейчас встретил, а не могу представить всей ее фигуры. Стоят в памяти только большие синие глаза, светлая улыбка и какой-то испуг; потом помнятся качнувшиеся косы. Как я не догадался поцеловать руку или косу: рука была в моей, вот в этой самой руке, а коса ударила меня по щеке, золотая коса! И теперь еще кажется, что коса щекочет щеку... «Эх, дурак ты, братец!»

— А вы, господин, не ругайтесь!..

— Да я — себя.

— А кто вас знает, кого вы... Гуляйте в молчании!

Значит, не выпустили, а возили либо на допрос, либо на свидание. Скорее — на свидание: она стучала что-то про отца. Не приехал ли отец, этот странный человек, пригрозивший нашей любви губернатором и преосвященным. Беспоконт

меня этот господин, которого я никогда не видел: не наболтал бы чего-нибудь, не напортил бы нам с Зоей... Надо нам поговорить и посплотиться, как быть, если отец что-нибудь затеет неподходящее к нашим планам: мы решили, как только кончится дело и состоится приговор, повенчаться в тюрьме и поехать вместе в ссылку, если ссылкой кончится. А если только высылка или надзор — мы избежим для жительства один город и там уже решим, когда повенчаться и нужно ли вообще венчаться. Я — против этой формальности принципиально, но Зоя не хочет огорчать родных и просит повенчаться. Пусть, для нее я готов на эту жертву...

Вон, около тюремной стены уже обтаяло и видна земля. Надо походить по этой мокрой земле. Как это приятно ступать по обнажившейся земле; мягко, скользко, остается след от резиновой калоши! Вон вьется веселый ручеек. Подошел, запрудил его ногой: скопилась мутная вода и побежала мимо. Не удержишь! Весна, тебя не удержишь! Любовь, тебя не запрешь в тюрьму!.. А голуби все воркуют. Они рады, что мы с Зоей встретились. Где они? Ах, вон куда забрались: в нишу каменной стены. Для них нет неволи и им не надо венчаться, и никто их не отдаст под надзор полиции и не вышлет. Счастливые голуби! Если бы мы, люди, могли жить так же, как вы, голуби!..

— Пожалуйте домой! Прогулка кончилась.

Да, надо домой. Там ждет Зоя. Куда ее, голубку мою, возили? Что она расскажет? Почему-то волнует меня тревожное ожидание и страх, не случилось ли чего-нибудь неприятного для нас обоих.

Словно чувствовало сердце недоброе. Войдя в камеру и осмотревшись, увидал на постели, за подушкой, записку и сейчас же понял, что ее подкинул от Зои мой приятель Флегонт.

«Приехал отец, хлопочет на поруки. Как скажешь, так и сделаю. Если хочешь, не выйду. Тяжело оставить тебя одного, словно теряешь навсегда. Милый, родной мой! Как же быть? Надо скорей повенчаться. Если отец будет мешать, не выйду из камеры. Верь и не грусти! Что бы ни было, никто и ничто нас не разлучит. Ночью буду ждать ответа, а лучше бы написал и передал Флегонту. Он — надежный. Трудно говорить через стену, много пропускаю, путаю. Весна, родной! Как хорошо на улицах! Ах, когда же мы с тобой... Твоя невеста».

Несколько раз прочитал письмо и стал быстро ходить по камере. Как же быть? Что предпринять? Висела над нами какая-то смутно сознаваемая беда; пугала близкая возможность разлуки;

на кого-то я страшно сердился, а на кого — не мог сказать определенно. Кто-то покушался отнять у меня мое счастье, а права на это не имел: Зоя — моя, только моя, больше моя, чем отца и матери. Никто не должен вмешиваться в нашу судьбу. Не позволю. Ходил все быстрее и думал все решительнее. Потом взял лист бумаги и решительным почерком, крупным и размашистым, сопровождая письмо чернильными непочтительными кляксами, написал в жандармское управление: «Политического арестанта, Геннадия Тарханова, прошение. Давно уже состоя женихом политической арестантки такой-то, имею честь просить о разрешении повенчаться с ней в тюремной церкви в самом непродолжительном времени. Геннадий Тарханов, политический арестант из камеры No 5». Во время вечерней поверки передал это прошение помощнику смотрителя и сердито сказал:

— Потрудитесь немедленно отослать в жандармское управление!

— Новое показание по делу?

— Совершенно новое. Вас оно не касается.

— Я не только могу, но я обязан читать все, что пишут в тюрьме политические.

Читает и чуть заметно ухмыляется, негодяй.

— Смешно?

— Имейте в виду, что теперь только вторая неделя Великого поста и потому...

— Это не ваше дело.

— Едва ли...

Покачал головой и пошел с улыбочкой на губах из камеры. Не могу передать той злобы и ярости, которые я испытывал, глядя в толстый затылок уходящего помощника смотрителя. Если бы в моих руках был какой-нибудь тяжелый предмет, я пустил бы им в этот жирный затылок. Но у меня в руках ничего не было, и я только до крови закусил нижнюю губу и сквозь зубы прошептал:

— Ммеррзавец!

И опять стал бегать по камере, пока не закружилась голова и не помутилось в глазах. А когда это случилось, бросился в постель и лежал без движения до тех пор, пока не подали зажженной лампы и кипятку для чая.

Медленно пил чай и обдумывал свое положение. Что, если нам не разрешат повенчаться в тюрьме? Отец возьмет Зою на поруки и, конечно, постарается разлучить нас навсегда: увезет куда-нибудь, за границу, например. Там она встретит кого-нибудь, полюбит и... Нет, она любит меня бесповоротно! Хорошо, если Зою куда-нибудь вышлют, а то ведь может все дело кончиться для

нее высылкой на родину и отдачей на поруки родителям. Это практикуется. Этого я боюсь больше всего. Попадет в западню моя Зоя и трудно будет добыть мою полоненную Царевну. Отец у ней похож на Кашея Бессмертного — это видно из его грубого письма ко мне. Скверно, Геннадий Николаевич!

И впервые еще я почувствовал ненависть к стене, которая нас давно разделяла.

— Проклятая!.. Ничем не прошибешь...

Постучал. Стена ответила. Прилег на постель, прильнул к холодному камню и начал выстукивать свое решение:

— Надо немедленно обвенчаться. Поняла?

— Тук, тук!

— Немедля подай прошение в жандармское. Поняла?

— Тук, тук!

— Когда повенчаемся, выходи на волю, только не забудь меня!

— Не з-а-б-у-д-у, н-и-к-о-г-д-а.

Потом я сообщил Зое, что моя мать тоже хлопчет о поруках и ищет денег, но что я не выйду, если Зоя останется еще в тюрьме. На это стена простучала мне:

— М-и-л-ы-й, л-ю-б-л-ю, ц-е-л-у-ю.

Итак, все сделано. Теперь нечего бояться. Раскрыл фортку и стал слушать и смотреть в звездное небо. Была тихая ночь, лунная, печальная какая-то. На тюремной церкви ярко сиял под лунным светом крест. Синий купол слился с фоном неба, и казалось, что крест висел в воздухе, как вещее чудо или знамение. Я долго смотрел на горящий синими огнями крест, и вдруг мне захотелось молиться. Я встал на стол, опустился на колени и стал шептать:

— Господи, спаси нас!.. Ты можешь. Ты видишь, как мы страдаем...

Успокоенный, я собирался спать и по обыкновению постучал, чтобы проститься с Зоей. Но ответа не было. Я прильнул к стене ухом и услышал что-то, похожее на тихий плач... Она плачет, плачет. О чем, голубка? Тревожно постучал в стену и прислушался; встала, с шумом отодвинула табуретку и подошла к стене.

— Ты плачешь? О чем?

— Я не могу выйти на свободу без тебя. Обвенчаемся, и я опять вернусь в мою камеру.

— Прекратите разговоры!

— Я не говорю.

— Значит, стена стучит? Сама? Надо вас развести... вот что.

— Не буду, не буду...

Всем хочется нас развести. Проклятые!..

...Опять раскрытая дверь. Опять увезли Зою на допрос. Как ее мучают!.. А может быть, на свидание с отцом. Не хочется гулять: дрожит в груди тревога. Надо скорее «домой»...

— Довольно! Больше не хочу гулять.

— Пяти минут не прошло еще.

— Все равно, веди меня в камеру. Не хочу.

— Как угодно. Мне все равно.

Не вернулась: камера по-прежнему раскрыта. Дрожит в груди тревога. Хожу, приостанавливаясь и жду, когда хлопнет соседняя дверь, заскрипит засов и забренчат ключи: это случится, когда Зоя вернется в камеру. Радостно вздрагивает сердце при каждом далеком стуке дверью, при каждом шорохе в коридоре. Нет, не то... А может быть, она уже в камере? Может быть, я как-нибудь пропустил ее возвращение. Подхожу к стене, прикладываю ухо, напрягаю слух и внимание. Нет, не слышно... Камера — пуста. Не верится. Стучу в стену условным призывом. Нет, не отвечает... Господи, что же это значит? Снова крадусь к своей двери и, затаив дыхание, прислушиваюсь к звукам и шумам в коридорах. Нет, нет! Смотрю на часы, успокаиваю себя: прошло не больше часа, на допросе иногда держат по два часа... Что им от тебя нужно? Что они мучают мою бедную голубку! Хожу, как зверь в клетке, тыкаясь в углы, а тревога все растет и растет. Смотрю на молчаливую стену: холодная, мертвая, угрюмо-молчащая стена. Она знает, но не скажет. Никто не скажет, не напрасно ли я жду желанного звона ключей!

— Зоя, моя милая невеста!..

Проходит еще час, и проходит другой. Зловещая тревога уже гонит прочь успокаивающие догадки, и безостановочно гложет душу, и шепчет на ухо:

— Нет, не жди! Она не вернется.

Идут, бренчат ключами... Она!.. Нет, это ко мне.

— Обед.

— Я не буду обедать. Постойте, скажите, где девушка из No 6?

— Не знаю.

— Прошу вас... ради Бога!..

— Ничего неизвестно...

— Умоляю вас, скажите, где она, моя невеста?.. Скажите только, вернется она? Да, конечно она вернется!.. Ну, так убирайтесь вон! К черту с нашим обедом!..

Ушел. Злобно звякнул железный засов... Один, один! Она не вернется... Зоя, Зоя!.. Как мне скучно! Если бы ты знала, как мне скучно!..

Где ты? Хотя бы знать, где ты и что с тобой! Не скажут. Никто не скажет. Ты не могла выйти, бросить меня, не сказав ни одного слова. Нет, ты не могла! Здесь кроется какая-то подлая проделка. Милая, тебя обманули!.. Я ручаюсь, что ты, оставая утром тюрьму, уже думала о том, чтобы поскорее вернуться. Нас обманули, Зоя!

— Что же делать? Господи, научи, что делать! Тоска, невыносимая тоска... Кто там еще лезет в мою камеру? Что вам от меня надо?!

— Потрудитесь прочитать бумагу и расписаться в прочтении...

— Какую бумагу?.. Зачем? Надоели мне ваши бумаги. Лучшее скажите, куда вы девали арестантку из No 6?

— Эта бумага вам выяснит.

Вырвал бумагу, читаю: «Сим политический преступник Геннадий Тарханов уведомляется, что прошение его о разрешении повенчаться в тюремном храме во имя Всех Скорбящих оставлено без последствий, так как указанная в оном прошении невестою заключенная того же тюремного замка девица в означенном замке не находится».

— Где же она?

— Это к делу не относится.

— Как не относится, когда мы с ней хотим повенчаться?

— Не кричите! Не забывайте, что вы не начальник, а я не ваш подчиненный! Мы не обязаны разыскивать невест.

— Ну, так убирайтесь к... вон!

— Потрудитесь расписаться и не возвышать голоса...

— Без последствий!.. Очень хорошо сказано... Оное прошение... Она девица!.. Оный тюремный замок!.. Извольте, расписался: «оную бумагу читал Геннадий Тарханов». Все? Теперь уверены, что она девица не пойдет за меня замуж?

— Не следует, подписываясь, делать таких рощерков и клякс. Вы не министр, а политический преступник.

— А разве министры всегда делают кляксы?.. А вы их слизываете...

— О ваших дерзостях будет доложено куда следует...

— А мне, ваша светлость, наплевать!

— Вот этаких на поруки не следует выпускать, а хорошенько проманежить.

Помощник вышел, а я стал бегать по камере и возбужденно говорить сам с собой и хохотать:

— Без последствий!.. А! Хотят оставить нашу любовь без последствий!.. Не следует меня выпускать на поруки!.. Проболтался, голубчик: теперь ясно, как Божий день, что Зою взял на поруки отец

и что ее обманули: повезли на допрос и передали отцу, этому господину... Кашею Бессмертному!

Тоска, ах какая страшная тоска! Не знаешь, куда себя девать, куда спрятаться от тоски. Кажется, разбил бы лоб об эту холодную, мертвую стену, за которой жила моя похищенная Принцесса... Тоска, тоска, тоска! Черт с вами, теперь мне нечего жалеть, переводите в башню, в карцер, куда угодно. Мне все равно, я хочу запеть, громко, с тоской запеть свою любимую песню... Тюрьма, слушай:

Эх, тоска, братцы-товарищи, в грудь запала глубоко,  
Дни веселия, дни радости отлетели далеко!..

— Прекратите пение! Нельзя.

— Чего там нельзя!..

Эх, за что ты изменила мне, я ль тебя да не любил?!  
За тебя, моя изменница, свою душу загубил!..

По коридору забегали, бряцая шашками и ключами тюремщики, а в противоположном конце какой-то политик уже подхватил и пел густым басом на всю тюрьму:

Полно, брат-молодец, ты ведь не девица,  
П-пей, — тоска-а-а пройдет...  
Пей, пей! — тоска пройдет.

И угрюмая тюрьма вышла из безразличного равновесия. В разных концах, вверху и внизу, пели и перекликались; никто не боялся угроз и не хотел признавать прав тюрьмы на безмолвие. Долго смотритель со стражниками бегали по камерам, упрасивали, стращали, умоляли, но как только водворялась тишина в одном конце, так в другом начиналось пение и перекличка. Я уже стих, мне надоело озорничать от тоски и отчаяния, а товарищи продолжали шуметь. Моя громкая «песня о тоске и изменнице» прорвала весеннюю жажду свободы, песни, любви, общения, и все порядки полетели к черту. Но вот мало-помалу шум стал ослабевать и, наконец, совсем прекратился. Возцарилась тишина, угрюмая и тяжелая, казавшаяся, после непривычного шума и взрыва молодой жизни, еще более глубокой и мертвой. Могила, каменная могила...

Прошла ночь, первая одинокая ночь. Опять раскрыта форточка, опять — синее небо, звезды, вздохи и шорохи земли, тайно, в ночном безмолвии, приготовляющейся к встрече желанной гостьи-весны; опять мелодичный перезвон на городской башне... Только нет за стеною той, кото-



рую я люблю, и некому уже сказать «спокойной ночи»!..

Лежу в постели с раскрытыми глазами и все еще не верю, что умерла стена: все чудится, что нет-нет да и скрипнет башмачок, милый башмачок милой девушки!.. Несколько раз, задремав, весь встряхивался и пробуждался; должно быть, во сне казалось, что стена тревожно зовет:

— Тук-тук!

Прижился ухом к холодному камню и весь превращался в слух. Потом, ослабев от нервного напряжения, как больной, валился на подушку и, отдуваясь, шептал запекшимися губами:

— Нет. Не вернется!..

Ах, как долга эта первая одинокая ночь и как часто бьют на городской башне часы!.. Бежит время, а кажется, что оно навсегда остановилось и что никогда уже не придет утро и не взойдет над землей солнце...

### XXXI

Все выше и прозрачнее синее небо и все горячее солнце. На тюремном дворе уже нет снега, обнажилась земля, а под стеной уже вылезла зеленая травка; на одинокой березе наливаются почки; под раструбами водосточных труб блестят лужи и мелкие ручейки, как ленточки, разбегаются в разные стороны. Беспеременно трещат по мостовым невидимого города извозчицы пролетки, гул их, веселый и торопливый, уносит мысль на оживленные улицы, где снуют свободные люди в новых весенних костюмах, девушки в синеньких вуалетках, с новенькими зонтиками...

Скоро Пасха: сегодня началась Страстная седмица. Должно быть, многих выпустили: как-то очень уж тихо и одиноко в тюремных коридорах... Не слышно по ночам тревожных стуков, кашля, вздохов; громче разговаривают между собой тюремщики, и нет в них прежней суетливости и беспокойства. Уголовные арестанты моют полы, скоблят что-то и стучат железными ведрами. Должно быть, и в этом каменном гробе ждут и готовятся к встрече Христа, которого сами же и распинают... Эх, вы, слепые кроты!

Почему-то великопостный перезвон тянет, приковывает мысль к великим страданиям, к терновому венцу и кровавому поту Распятого за великую любовь к людям. Скоро будет уже две тысячи лет, как люди вспоминают об этих страданиях каждый год, а все еще не поймут, что они каждый день, каждый час распинают своего Бога...

Я люблю в Страстную седмицу ходить в церковь: в эти дни люди как-то ближе делаются друг другу и, как раскаявшиеся преступники, грустят о какой-то неведомой хорошей жизни и смутно сознают суету и пустоту тех благ жизни, за которые они непрестанно грызут друг друга за горло... Даже в фарисеях в эти дни начинают теплиться искорки искреннего покаяния...

Каждый день я хожу к часам и к вечерне. Закрою глаза и прислушиваюсь к кроткой молитве так просто и искренне раскрывающей перед Богом все человеческие слабости:

— Господи, владыко живота моего...

Вздыхают люди, опускаются на колени, и вся церковь наполняется покаянным настроением. Хочется прощать даже врагам своим, не ведающим бо, что творят.

В тюремной церкви так странно и резко, под звон кандалов, звучат слова кроткой молитвы. В голове встают непримиримые контрасты: вот они, люди — одни заковали других, как опасных зверей, в железные цепи, рассадили по клеткам и теперь вместе сокрушаются и молят Бога:

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!..

— И не осудяти брата моего...

Мешает это отдаваться тому настроению, которое испытывал в такие дни в церкви свободным. Только начнешь отлетать от земных злоб, как вдруг — звон кандалов или бряцание оружием, — и раскрываешь глаза, и саркастическая улыбка начинает шевелить губы. Думаешь: «Если на небе есть Господь, как ему, должно быть, обидно, горько и смешно смотреть и слушать слепых рабов своих!..»

Хотелось вспомнить детство, всю неделю попроститься и даже поговеть. Нет, не могу! Ничего не выходит. Не покидает дух сомнения: кандалы не дают ему притихнуть и слиться с молящимися братьями в общей кроткой, такой прекрасной молитве... Буду слушать великопостное пение и вспоминать хотя, а не переживать то, что не хочет вернуться...

Купил пучок вербы с белыми пушистыми, похожими на маленьких зайчиков, цветами, купил толстую восковую свечку с золотом. Хожу аккуратно к часам и к вечерне, жую пахучий воск, подпеваю арестантам, а сам вспоминаю, как говел, бегая из церкви в церковь, когда был гимназистом, как возвращался от всенощной с горящей свечой и как лазал на колокольню звонить... И полетит мысль далеко-далеко, и забудешь, что ты — в тюрьме. Ах, проклятые канда-

лы, вы опять разбудили мой рассудок! Дайте мне полетать на воле!..

— Господи, владыко живота моего...

Позади меня стоит стражник и, опускаясь на колени, бряцает шашкой. И мне вдруг приходит в голову мысль: «А что, если я сейчас побегу?» Забудет про Владыку своего живота и первым делом вспомнит владыку тюрьмы и пустит в меня пулю из револьвера...

В среду за часами в мою клетку заглянул батюшка в черной ризе с серебряными крестами. Он с изумлением посмотрел на меня и очень кротко, с соболезнованием, спросил:

— Пожелаете исповедоваться?..

— Нет, батюшка, не могу...

— Почему так? Я вижу, что вы, не в пример другим политическим, посещаете храм Божий... Вы, вероятно, боитесь, предполагая, что я выдам начальству ваши политические грехи...

— Политические грехи, батюшка, иногда на небесах считаются добродетелями...

— Никогда! Заблуждаетесь.

— Христа обвиняли, батюшка, в том, что он называл себя царем...

— Не время и не место... — сказал батюшка и скрылся.

Пропала охота ходить в церковь. В Великую пятницу я зажег у себя в камере огарок свечи с золотом и слушал, как в тюремной церкви пели арестанты «Слава долготерпению твоему, Господи», как в синей тишине весенней ночи перекликались колокола городских церквей, и невыразимая тоска щемила мне грудь, выдавливая на глаза слезы. Глухое пение, перезвон колоколов и огонек восковой свечи напоминали о смерти и погребении... И вдруг в памяти нарисовался полутемный зал в старом доме, гробик с тремя горящими свечками и бледное личико Вовочки в кружевном чепчике, сложенные ручки с восковыми пальчиками... Закрыв глаза и вижу около гробика тонкую женщину в черном со страдальческим выражением на прекрасном лице... Уйди, Калерия! Я не хочу вспоминать о тебе. Я не люблю тебя, я никогда не любил тебя, я лгал себе самому, когда говорил тебе о своих муках и о радостях любви!.. Я люблю Зою, мою чистую белую невесту с золотыми косами. Только ее! Уйди же, Калерия, я не хочу тебя видеть!.. Я не хочу о тебе думать...

— Зоя, Зоя!.. Где ты, моя светлая голубка?

Я с сердцем погасил восковой огарок, рождающий в памяти черный призрак прошлого, и, ходя по камере, с грустью тихо декламировал свои стихи, посвященные Зое:

Ярко блещут звезды в синеве небесной,  
Чрез окно струится аромат весны,  
Над землей уснувшей роем бестелесным  
Носятся на крыльях феи грез и сны...  
Звездочка мигнула в вышине далекой  
И опять зажглася синим огоньком...  
Звездочка, брось луч свой к деве синеокой,  
Разбуди ей сердце и шепни тайком!  
Ты шепни о том ей, как тоскует милый,  
И отдай ей крылья от моей мечты, —  
Пусть, хоть на мгновенье, сказочною силой  
Превратится в грезу, фею Красоты!..  
Надо мной склонилась русая головка  
И коса упала ко мне на плечо...  
В полутьме сверкнула глазами плутовка  
И поцеловала крепко, горячо...

Синеет в раскрытой форточке кусок небесной синевы с одинокой звездочкой, ласковый теплый ветерок приносит пугливые еще грезы о радостях весны, а колокола невидимого города грустно и торжественно перекликаются, то далекие и тонкие, то близкие и гудящие низким басом... А в тюремной церкви арестанты в кандалах с верой и упованием поют:

— Слава долготерпению твоему, Господи!

Какая теплая ночь! Насторожилась и прислушивается к перезвону колоколов. И небеса притихли. И звезды задумались. Какая-то тайна есть между небом и землею. Что-то знают земля и небо, чего не знаем и никогда не узнаем мы, люди. И от этого кроткая печаль волнует душу. Странно: на свободе, когда читал Бюхнера, не верил в Бога и верил только в Дарвина, все было так ясно и понятно: Бога нет, как дважды два — четыре, его придумали умные и ловкие люди, чтобы удобнее и легче было морочить простаков... А вот теперь опять все неясно и все непонятно. Смотрю в синюю глубь неба с задумчивыми звездами, прислушиваюсь к плавающим в тишине звонам колоколов — и душа наполняется каким-то благоговейным трепетом, и ясно чувствуешь какую-то великую тайну между землей и небом.

— Нет, не может быть, чтобы не было Бога...

— Слава долготерпению твоему, Господи! — поют арестанты.

Я глубоко вздыхаю и молюсь в форточку на кусок далеких, полных тайны небес.

Но вот все стихло. Не поют арестанты, замолчали колокола. Молчат земля и небо. Кончились великие страдания Христа, положившего душу за други твои... В страданиях за правду и ближних люди приобщаются к великим страданиям Христа. И, может быть, поэтому в душе моей иногда

ярко вспыхивает радость, что я томлюсь в тюрьме в эти дни великих страстей Господних... Да, да, это так! «Слава долготерпению твоему, Господи!» — шепчу я и, успокоенный, с тихой и кроткой душой, ложусь в постель. Не спится. В раскрытой форточке синее небо с одинокой звездочкой и притягивает к себе какой-то неведомой силою. Влажной прохладной волною льется с воли тревожащий воздух весенней ночи. Какую-то радость приносит он из неведомых краев на своих крыльях, пробуждает в памяти какие-то смутные, радостные воспоминания... Весенний шум старых берез с молодыми листочками; голубые небеса с плывущими куда-то белыми облачками; зеркальная поверхность родной Волги с убегающими в синюю даль горами; дымок парохода, грустный, далекий свисток; плоты в розовом тумане весеннего вечера на реке...

— Зоя, Зоя!..

Старый сад с липами, с таинственными шатрами из зеленых кружев листвы, с одуряющими ароматами сирени, с огнями скрытого деревьями старого дома... Белая, как снег, гибкая Джальма в синих сумерках теплой молчаливой ночи, распахнутое окно беседки... и прекрасное лицо черной женщины с черным пламенем странных, пугающих душу глаз...

— Уйди, Калерия!.. Я не хочу вспоминать и не хочу думать о тебе.

Не уходит. Властно стоит в памяти и насмешливо смотрит прямо в глаза...

— Какие бесстыжие глаза у тебя, Калерия!.. Не смотри на меня! Уйди!

Не уходит. Приближает свое лицо, порывисто дышит горячим дыханием в щеки и раскрывает свои красные губы...

— Пойдем... пойдем...

— Куда ты влечешь меня? Разве ты не знаешь, что я люблю Зою, что Зоя — моя невеста?

— Пойдем на край света!.. Уже пришла весна. Шумит старый сосновый бор, распустились на озере белые лилии и желтые кувшинки, выросла мягкая душистая трава... Разве ты не слышишь, как пахнет земляникой?

— Ах, Калерия... Какая ты красивая!..

— Да, да... Идем же на край света... встречать, весну!..

На другой день я проснулся разбитый и усталый со смутной тоской на душе... И когда я вспомнил кошмарные сны пролетевшей ночи, я почувствовал жгучий стыд и, закрыв глаза, прошептал:

— Прости, Зоя... Я не виноват... Мне стыдно и... гадко...

Продолжение следует.